



«Мое имя — как рукоятка от топора»

— Эта квартира новая, я даже и не знаю, где это лежит. Но вот пришел человек — вдруг, просто с улицы — и подарил три ковры: Христос, Николай Угодник, красиво так... А я ж неверующая. Я сестре все завидую: тебе хорошо, помолвилась — и тебе утешение. А мне чем утешаться? Из себя как-то доставать приходится... Ведь у меня мама была идейная-разыдланная, с детства мне наказывала: Нонна, никогда в церковь, ни-ни... Но, правда, иногда и со мной чудеса бывали. Мне на улице железная стружка попала в глаз. Нет, это еще не чудо. Повезли меня в больницу стружку доставать, потом хрусталик новый вставили — глаз не видел, пока он не прижился. Странно мне было: иная, мертвая вещь в глазу

моем приживается, и я вдруг — вижу! Но и это еще не чудо, а чудо вот что: лежу я на кровати, в глаз капли закапаны, — прит-крываю глаз и вижу: из-за штор солнышко выходит. Без лучей, ровное, круглое. Золотой шарик, а с него будто лоза свисает. Повисел передо мной — и пропал. Вроде как привет.

А еще было: я очень хотела у Кулиджанова в «Отчем доме» играть. Пробы прошла, так мне эта роль нравилась — сил нет. А утверждали тогда не как теперь: целый хулисовет сидел, три часа думал... Я сестре и говорю — она еще маленькая была, школьница: сходи помолись Николаю Угоднику, чтобы мне роль эту дали! Она тут же платочек повязала, побежала, свечку поставила, потом говорит: поставила, дадут тебе роль! Я уж и забыла про то, и тут говорят: утвердили. Я потом только узнала, что у Ни-

колая Угодника мать Нонной звали. Вот, наверное, он неверующий и помог... Вообще никогда я со своим именем не была в ладу: ну что за имя такое — Нонна? Есть же прекрасные, светлые, со значением: Люба, Света... а мое — как рукоятка от топора! Мать меня в честь подруги назвала, из Москвы к ней приезжала комсомолка-раскомсомолка, и были они не разлей вода. Пошла она меня записывать, а тогда же, при начале советской власти, никаких загсов-маков, стоит хатка беленая, в ней записывают... Мать говорит: хучу, чтоб Нонной назвали! А там женщина сидела по старше, она и говорит ей: слушай, нет такого имени! Давай я ее Ноябриной запишу (это ей, значит, казалось, что такое-то имя должно быть, революционерное). А в скобках — Нонна, будто сокращение. Ну, мать моя

«Штирлиц — это моя первая большая любовь»

— А вы легко влюбляетесь?

— Ой, это быстро у меня! Сразу все схватываюсь. Помню, в институте, во ВГИКе еще, на каком-то собрании стою, яблоно-ею, а прыжок дель некуда. И тут толкнул меня кто-то и из руки этот прыжок взял. Надо же, думаю, какая деликатность! Тут же пригладываться начала и сохну по нем, по мальчику этому. Вообще мы, деревенские, любим городских, тонкость любим. Сережа Бондарчук — он молчун был, угрюмый, сдержанный человек — земляк мой, из нашей станицы, матери наши дружили. Так он ни в чем на меня не похож был — я-то горворляная, и настроение меняется сто раз на дню, а в одном мы схожи: к культурным тянемся, к тонким. Игорь Сковбидов — какая ножка, какая косточка! Не то

что мы, с сороковым размером... Я и Тихонова полюбила за то, что он скромный, красивый, и как поженились мы — первым делом рубашку ему сшила бархатную. Только воротник все равно женский вышел. А уж когда мне поклонник Байрона в оригинале читал — бож-же мой, Байрона! в оригинале! Уже потом это было, я, пока замужем, ничего себе не позволяла... Жила я у этого поклонника в гостях, на даче у его родителей, он все дни пасьянс раскладывал да струны гитарные перебирал. Тут я и задумалась: Байрона-то ты, положим, читаешь, но когда же ты работаешь что-нибудь наче-нешь? Я ведь сознательная, я, если надо, и от лишнего забот избавлю, и плечо подставлю — но чтобы совсем ничего не делал, это ведь ужас, да!

Ваш вкус понять можно, Тихонов действительно красавец... Был — да. Он совсем молоденький поступал, в шестнадцать лет. На экзаменах расплакался, я ему воды подала, так и познакомились. И очень долго он в себя не верил. Поверил в конце первого курса, когда отрывок показывал из «Обломовых»: Захара играл. Там он по действию хлам обломовский разгребает, достает дрянную пильную из-под дивана — достанет и чихнет! Он так чихал — вся комиссия лежала. Очень долго готовился, тренировался, его в обществе биты толкали...

Так что да, Штирлиц — это первая большая любовь. Он у меня был первый, и я у него первая. Мать тогда это все неправильно, я нескоро во вкус вошла. — Я недавно видел по телевизору — бег вест в который раз — «Чужую родню». И поразился, что в этом обычном колхозном кино, где все по сюжету — полная лажа, такая правда во всем — и в вас, и в Рыбникове, и в любви вашей...

— Ну, Рыбников! Еще бы! Так ведь и была любовь. Это же такое дело, понимаете, — с режиссером ли, с партнером ли: вы вместе занимаетесь творчеством, очень тонкие какие-то вещи говорите друг другу, это как пинг-понг. Он подал, ты поймал. И начинает вас в конце концов что-то такое связывать, чего никак не объяснишь: это и не любовь, это... ну, в другое пространство с ним попадаешь. Ой, как мы с Колкой друг друга любили, я бы и не сыграла ж без этого! Но — ничего себе не позволяли: у меня Штирлиц, у него Алла Ларионова. Я красивой Аллы Ларионовой женщины в жизни не видела: ездили мы с ней вместе по концертным, я в гостинице смотрю на нее боялась. Ну такая красота, такая кожа, такие губы — я уж за завтраком на скатерть гляжу, на муху ползущую, чтобы

только на нее не заглядываться... Какая они были пара: она — первая красавица советского кино, «Анна на шее», а он — первый социальный герой, и скажу вам по чести, что не было больше такого социального героя... Она, кстати, карьеру его и остановила — они умерли оба, не в обиду им. Не пускала его на съемки, не давала играть. Ну и пил он много, бублик сала у него вокруг шеи вырос... Ах, жалко.

«Будь Меньшиков поменьше, а б его на руках носила» — А вы заметили, что в тех фильмах — несмотря на всю ложь, на все украшательство — почему-то и до сих пор осталась убедительность? И молодые их смотрят с удовольствием...

— Так и американцы смотрят! Николая не забуду, как один режиссер сказал, американец: делайте свое, а наше мы лучше вас сделаем! И молодежь, действительно, я приезжаю недавно в Казахстан, маленькую картинку там снимали. Подходил ко мне мальчик и плачет (показывает мальчик). Я: что с тобой, милый? А мне его мать издала говорит: он хочет с вами сфотографироваться, но боится попросить... Что было в тех фильмах, я знаю, кажется.

— Советский большой стиль. — Да, но что такое большой стиль? Это когда все вместе делается общее дело (назовите советским стилем — пусть будет советский): не каждый за себя, а все в ансамбле играют. Тогда и будет кино, и потому хороший наш фильм был, как материя, как ткань: переплеталось все. Оттого все там и было так... сочно: этот сок жизни в самой материи держится. Ты смотришь — и чувствуешь, что в главном-то не врут! В искусстве своем не врут! Это сейчас — каждый сам по себе, а потому и ткани нет: смотришь — а это зонтик без материи. Одна конструкция торчит, умозрение. Вот и «Мама» не сказать, чтобы я эту роль не любила. Люблю, и деток всех своих люблю: какая славная у нас там компания полюбилась, всегда вместе! Я бы Меньшикова в фильме на руках носила, будь он чуть поменьше. Но ведь и в этой картине, пусть в хорошей, идея думка торчит — а я-то знаю, как было! Ой, какой могли бы мы раньше фильм об этом сделать — если бы только была в нем настоящая жизнь! Ведь эта семья Овечкиных — это же трагедия хуже, чем у нас в кино. Мать там была дужиллиная, работающая, детей обула-одела, на них все заглядывалась. И как же она их учила, как воспитывала — это ведь ансамбль, на который отовсюду смотреть приезжали! Костюмы из лучшего шелка, отглажены, расшиты, сама с ними ре-

петировала до одури, и за границу они летели не за деньгами! Они — вот это-то по-настоящему, по-русски — хотели собой весь мир удивить! У них уж деньги были, они так жили, как все-му Казахстану не снилось (в Казахстане ведь дело было). Уже и картошку сами не копали, а людей нанимали. И вот захотели захватить самолет — деревенские ведь мечтают город покорить, а городским-то чего хотеть? Только Нью-Йорк покорить! Хотели захватить самолет, а не вышло. Мать попросила, чтоб ее старший застрелил... Ох, там страшной все было, чем в фильме. И точней. Советская-то жизнь такие драмы лепила, что не придумаешь.

— Жутковатая у вас получилась Мама. Помните, Меньшиков спрашивает: «Мама, зачем тебе столько сыновей?»

— Да, страшная старуха. А что ж, не жуткая жизнь у сыновей? Не жуткая была Родина? Я ведь голод тридцать третьего на

человека. Нет у тебя с ним ничего — а чувствуешь ты его, понимаешь; вот и я его, кажется, понимала. Он мне дней за двадцать до смерти позвонил, и пели мы с ним в трубку. Он петь любил. Когда я приходила, любил. А «Трясина» — ее потому не выпускали широко, что не знали: как она подействует? Ведь и тогда уже, это конец семидесятых, многие матери не хотели сыновей отдавать в армию, и было почему... Оправдываю ли я? Да я ж идейная, и у меня с детства вот тут, в груди, сидит: надо — так надо. Тут война ж, все идет — и ты иди... Ну вот слышите вы, допустим, по телевизору: передача идет — сейчас уж прикрыли ее, по-моему, — «Забитый полк». Святое дело люди делают — ишут пропавших на фронте. Все ж крестьяне шли, одни крестьяне, городских-то поменьше было. Я их не обвиняю, нет. Но все ж знаю, что городские отмазывались, могли иногда... ухаживать за Аскольдовым поссорились все-таки, когда мы фильм в Праге показывали. Говорю ему: «Никто давно ваш фильм не помнит!» — «Мой фильм? Это вас никто не помнит!»! Он потом, говорят, роман написал... Сейчас уж неузнаваем совсем, скрючился всего, подбородком живот достает. Но и после ссоры, и после всех трудностей наших с

Вообще мы, деревенские, любим городских, тонкость любим. Я и Тихонова полюбила за то, что он скромный, красивый, и как поженились мы — первым делом рубашку ему сшила бархатную. Только воротник все равно женский вышел.

Кубани краем сознания помню, крошечная была, — а помню, как идет человек, от воды пухлый, и ветром его шатает. Или еще помню: сидит мужик с сыгаркой между пальцами, сидит неподвижно — ну, думают, он просто задумался. Подходит — а он уж мертвый дня два или три, а ветром да солнцем его подвялило, как рыбу. А это Кубань, хлебный край... И все равно мы Сталина любили, ой как любили, я сама теперь не верю. От самого ВГИКа пешком шли с транспарантами, чтобы только мимо трибуны его пройти. Потом ног не чуяли, на газон падали, чтоб хоть пять минуток отдыха урвать: нас милиционер этим же транспарантом и тыкал — вставай, на газон лежать не положено! Было, все было.

«Про Бен Ладена одно знаю — не поймать его»

— Недавно умер Чухрай, у которого вы сыграли самую страшную, кажется, свою роль. В «Трясине». Картина тогда, насколько я помню, дали третью категорию, ее не видел почти никто... Вы оправдываете героиню свою — мать, которая сына на фронт не пустила?

— Ох, Григорий Наумович — друг мой был, вот бы вот так, что любишь человека просто как

все московское ополчение... А крестьянин — ему куда деться, он и шел. Вот чтоб отмазывались — я этого не люблю. Но мне сыграть ее надо было, а чтобы сыграть — надо ж полюбить, похалеть мальчонку этого, нет? И я смотрю: он маленький, худенький, ест мало — кругом все кабаньи здоровые, пусть они на фронт идут, а он жалкий такой, куда ж ему... Вот и копила в себе эту жалость по капельке, и вышла у меня такая мать, что вся правда — за ней! Но сейчас... сейчас бы я своего сына на чеченскую войну не отдала, нет! Зубами держала бы.

— Почему? — Да потому, что не война это все, а сделка. Генералом денежек надо, ну и решили... по-воевать. Вон солдатики показывают, он генералу дачу строит. Спрашивают: сколько такая дача, по-воему, потянет? Он говорит: ну, миллионов пять, шесть... Пусть не долларов, пусть рублей — откуда генерал такие деньги взял? Чеченская война — это все ложь одна, генералы же ее и начали, чтоб дач построят... — А Бен Ладен — тоже ложь?

— Про Бен Ладена не скажу, не знаю. Одно знаю — не поймают они его. Я кубанская казачка, рядом с горами выросла, горы знаю — это ж другая страна, совсем особенная. Стоит человек — и нет человека, нырнул в расселину — поминай как звали. Ты бомбишь место, где он только что стоял, а он уж в Женеве кофе пьет!

— Вы снялись у самого успешного и самого неуспешного режиссера нашего кино: сыграли у Михалкова в «Родне» и у Аскольдова в «Комиссаре». Обе роли были звездные, но «Комиссар» лежал двадцать лет, а «Родня» хотя и не сразу, благополучно вышла. Михалков у всех на виду, а что случилось с Аскольдовым?

— Они оба только в одном похожи. Оба уверяли, что вся планета должна замолить бу-дильник на покаянное просыпание и с утра до вечера их кино смотреть. Оно, может, и объясняющая вещь для режиссера, но все ж трудно с ним становится. Я в результате с Аскольдовым поссорилась все-таки, когда мы фильм в Праге показывали. Говорю ему: «Никто давно ваш фильм не помнит!» — «Мой фильм? Это вас никто не помнит!»! Он потом, говорят, роман написал... Сейчас уж неузнаваем совсем, скрючился всего, подбородком живот достает. Но и после ссоры, и после всех трудностей наших с

Олив вышел — ну, то есть прибавилось, другой — еще прибавилось... Ролан Быков ушел молодой, всегда был молодой... Моргунов ушел — веселый, добрый, домашний, борщ варил, детей любил, — он только на людях шуточки откалывал, потому что этого от него ждали... А ведь мы еще можем, мы знаем, как кино-то делается. Я и спеть еще могу — все мечтаю концерт дать, чтоб украинские песни показать, я их столько знаю! Вот мне от Тухманова позволено, предложили в детской опере попеть. Я что-то не в настроении была — говорю, какая мне опера? А сейчас думаю: зря это я. Надо было соглашаться, завязались бы связи полезные, он бы мне концерт помог сделать...

— Ну, вам-то грех жаловаться: вас все любят.

— Спасибо, что любят. Да ведь я поработать еще хочу! Ведь я играла все трагические роли — а как я комические люблю, как умею это!

— «Кто возьмет билетов пачку — тот получит водочку».

— Ну да! А мне все страдало да страдало предлагали. Сколько можно страдать-то?

...Вот и я, глядя на нее, думаю: сколько можно страдать-то? Может, и пожизненно еще как люби? И Россия, и она, и все мы, ее дети.

Она же дужиллиная. Может, что и получила.

ним скажу: режиссер он от Бога, и когда спелу роллов я у него делала — не помню, чтобы кто другой так понимал артиста. И вечно я буду ему благодарна за эту картину.

А Никита... что ж Никита. Мне кажется, он губит себя, а говорит подробнее не хочу. Ходит мимо меня, не здоровается — это грустно мне.

«Играла трагические роли, а я комические люблю»

— Залам вам неприличный, в сущности, вопрос: вы любите Родину?

— Родину? А что такое Родина? Станицу свою люблю, дом люблю: улица Красина, дом шесть. Люблю больше всего знаете что? «Замис, замис!» — это у нас по всей улице кричали, когда дом новый кому-то строили. Замешивается глина, и делают из нее такие, как бы вам сказать, блоки. А из них хату строят. Ну, кто бедный — ему ж заплатить нечем, а сам он не замесит, тут работа артельная. И после постройки дают, как у нас говорят, банкет. Детворе подушечки кидают, конфетки такие были, карамельки, а взрослые пьют, приятное дело, самгон. «Замис, замис!» — вот это я люблю: чтоб все вместе и работали, и за просто так, за праздник.

— А место рождения как-то повлияло на характер вам? Ведь вы казачка...

— Да я вам так скажу: не зависит человек от места, где он родился. Слишком все просто было бы. Одно только: сила тягловая, дужиллиность — это наше, казачье. Так и не только на Кубани да на Дону это есть — в России все дужиллиные, жизнь такая...

И кино наше было такое. Стоят пустые наши павильоны, висят наши костюмы — на масовку нашу немереную... Костюмы наши, гримеры, художники, артисты наши — скажи им кто, дай возможность, да неужели мы не сделаем кино, как тогда, и получше, чем тогда! Со всей нашей правдой, со всем опытом, который вот тут у нас, в груди, — и никому не нужен!

И Большого нашего, где столько замыслов и дружб родилось, стоит — да только оно уже не наше... Где мои друзья? Мне, чтоб сегодня дружить, надо в шубу влезть, в сапоги влезть, на другой конец Москвы ехать... Негде нам вместе-то быть, на плановке не встречаемся, живем не близко... Это было, если представить, как один большой зал. Олив вышел — ну, то есть прибавилось, другой — еще прибавилось... Ролан Быков ушел молодой, всегда был молодой... Моргунов ушел — веселый, добрый, домашний, борщ варил, детей любил, — он только на людях шуточки откалывал, потому что этого от него ждали... А ведь мы еще можем, мы знаем, как кино-то делается. Я и спеть еще могу — все мечтаю концерт дать, чтоб украинские песни показать, я их столько знаю! Вот мне от Тухманова позволено, предложили в детской опере попеть. Я что-то не в настроении была — говорю, какая мне опера? А сейчас думаю: зря это я. Надо было соглашаться, завязались бы связи полезные, он бы мне концерт помог сделать...

Олив вышел — ну, то есть прибавилось, другой — еще прибавилось... Ролан Быков ушел молодой, всегда был молодой... Моргунов ушел — веселый, добрый, домашний, борщ варил, детей любил, — он только на людях шуточки откалывал, потому что этого от него ждали... А ведь мы еще можем, мы знаем, как кино-то делается. Я и спеть еще могу — все мечтаю концерт дать, чтоб украинские песни показать, я их столько знаю! Вот мне от Тухманова позволено, предложили в детской опере попеть. Я что-то не в настроении была — говорю, какая мне опера? А сейчас думаю: зря это я. Надо было соглашаться, завязались бы связи полезные, он бы мне концерт помог сделать...

— Ну, вам-то грех жаловаться: вас все любят.

— Спасибо, что любят. Да ведь я поработать еще хочу! Ведь я играла все трагические роли — а как я комические люблю, как умею это!

— «Кто возьмет билетов пачку — тот получит водочку».

— Ну да! А мне все страдало да страдало предлагали. Сколько можно страдать-то?

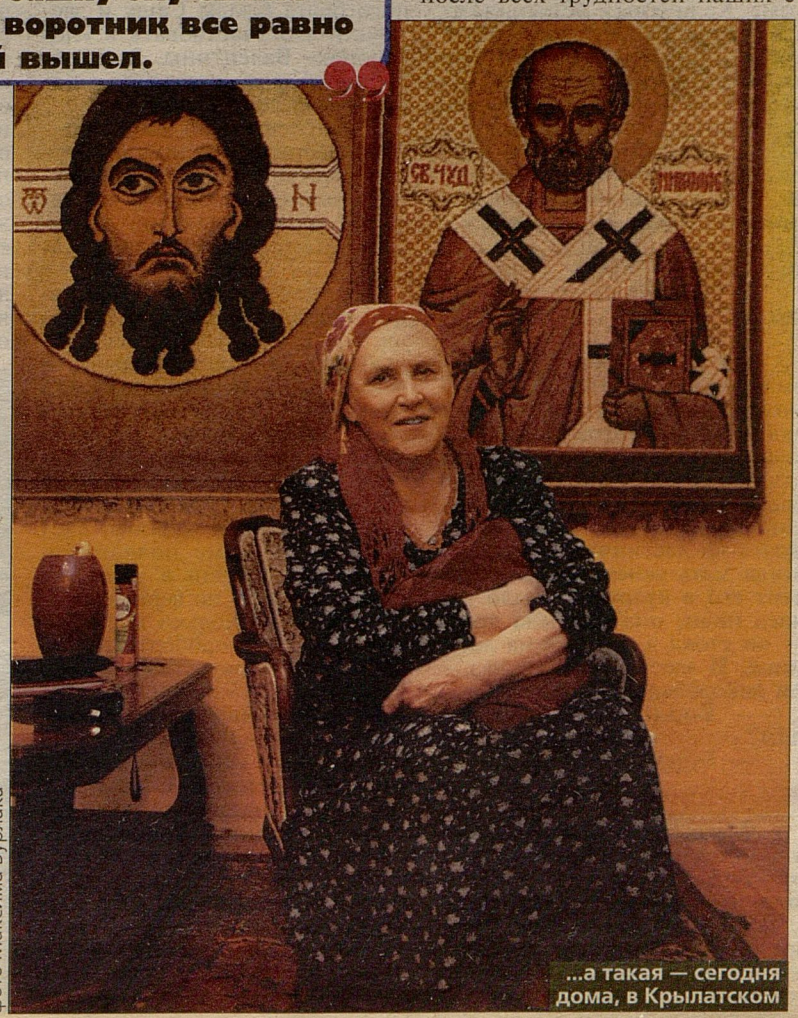
...Вот и я, глядя на нее, думаю: сколько можно страдать-то? Может, и пожизненно еще как люби? И Россия, и она, и все мы, ее дети.

Она же дужиллиная. Может, что и получила.

Дмитрий Быков.



Такой она была в фильме «Мама»...



...а такая — сегодня дома, в Крылатском

фото Максима Бурыка